

Сын Волка. Дети Мороза. Игра

В этом томе произведений Джека Лондона собраны три знаковые работы: «Сын Волка», «Дети Мороза» и «Игра».

Их объединяет тема борьбы человека за свое существование - и с силами природы, и с другим человеком.

ДЖЕК ЛОНДОН

СЫН ВОЛКА

*

ДЕТИ МОРОЗА



Джек Лондон

Сын волка. Дети мороза. Игра

Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга»
2011

© Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга», художественное оформление, 2008, 2011

ISBN 978-966-14-2534-6 (epub)

Никакая часть данного издания не может быть скопирована или воспроизведена в любой форме без письменного разрешения издательства

Электронная версия создана по изданию:

Лондон Дж.

Л76 Сын Волка. Дети Мороза. Игра [Текст] : пер. с англ. — Харьков : Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга» ; Белгород : ООО «Книжный клуб “Клуб семейного досуга”», 2008. — 416 с. : ил.

ISBN 978-966-343-835-1 (Украина, т. 4).

ISBN 978-966-343-752-1.

ISBN 978-5-9910-0269-1 (Россия, т. 4).

ISBN 978-5-9910-0170-0.

В очередном томе произведений Джека Лондона собраны три знаковые работы: «Сын Волка», «Дети Мороза» и «Игра». Их объединяет тема борьбы человека за свое существование — и с силами природы, и с другим человеком.

У черговому томі творів Джека Лондона зібрано три знакові роботи: «Син Вовка», «Діти Морозу» і «Гра». Їх поєднує тема боротьби людини за своє існування — і з силами природи, і з іншою людиною.

ББК 84.7США

Сын Волка

Белое Безмолвие

-Кармен не протянет, пожалуй, и пары дней. — Мэсон выплюнул ледышку и с сожалением посмотрел на собаку. Потом снова взял ее лапу в рот, продолжая обкусывать намерзший между пальцами лед.

— Никогда, знаешь, я не видел, чтобы собака с благородным именем была на что-нибудь годна!.. — сказал он, кончая работу и отбрасывая животное в сторону. — Они все какие-то чахлые идохнут от излишней ответственности. Разве заболевают собаки с простенькими именами вроде Кассияр, Сиваш или Хески? Вот, посмотри на Шукума, — он...

Трах! Скелетообразный зверь сделал страшный прыжок, и его белые зубы промелькнули у самой глотки Мэсона.

— А-а, чтоб тебя... — Затрещина по уху, удар кнута — и животное уже лежало в снегу, слабо взвизгивая, а желтая пена бежала у него изо рта.

— Так вот, я говорю: Шукум — сам-то он как будто еле волочит ноги, а увидишь, он съест эту Кармен. Не пройдет и недели, как съест.

— А у меня предложение как раз обратное, — отвечал Мельмут Кид, поворачивая замерзший хлеб, поставленный к огню. — Давайте-ка съедим лучше Шукума, пока он еще чего-нибудь не предпринял. Что ты скажешь на это, Руфь?

Индианка поставила чай на обломок льда и перевела глаза с Мельмута Кида на мужа и потом на собак. Она не сказала ничего. Все это было настолько банально, что и говорить не стоило. Впереди двести миль непрерывного пути с жалким шестидневным запасом для них самих, а для собак — ничего. А другого выхода нет. Двое мужчин и женщина сгрудились у огня и принялись за еду. Собаки лежали в упряжи — это была дневная передышка — и с жадностью следили за каждым проглатываемым куском.

— Сегодня последний завтрак, больше не будет, — заметил Мельмут Кид. — И я вам скажу, держите ухо востро с собаками, они становятся подозрительными. Что им стоит, в самом деле, при удобном случае перервать кому-нибудь глотку?

— А я был когда-то председателем в Эйварее и преподавал в воскресной школе!.. — Выпалив это, Мэсон погрузился в задумчивое созерцание своих дымящихся мокасинов и очнулся только тогда, когда Руфь поставила перед ним кружку чая. — Вот хорошо, что у нас еще есть кирпичный чай! А я ведь видел, как он растет, — там, в Теннесси. Что бы я дал сейчас за горячий кусок пирога! Не беда, Руфь: больше ты голодать не будешь. И мокасинов носить тоже не будешь.

Женщина вся засветилась при этих словах, и в глазах ее заструилась и поплыла большая любовь к белому господину — первому белому человеку, какого она знала, и первому человеку вообще, который относился к ней — женщине — несколько лучше, чем к вьючному животному.

— Да, Руфь, — продолжал ее муж, переходя на тот невообразимый жаргон, на котором они только и могли объясняться между собою. — Погоди только, пока мы это все обделаем! Мы отправимся тогда По Ту Сторону. Мы возьмем лодку Белого Человека и поедem на Большую Соленую Воду. Да, скверная вода, тяжелая вода — целые горы — вверх и вниз, вверх и вниз, все время. И такая большущая, и такая длинная... Очень далеко. Ты десять раз ляжешь спать, и двадцать раз ляжешь спать, и сорок раз ляжешь спать (для наглядности он подсчитывал по пальцам). И все время вода, скверная вода. А потом мы приезжаем в большую деревню. Народу тьма — вот как москитов в прошлое лето. А вигвамы... о, какие высокие вигвамы — десять елок, двадцать елок... Ха-йу?

Он беспомощно остановился, бросив умоляющий взгляд на Мельмута Кида. Потом на языке знаков добросовестно подытожил двадцать елок — точка в точку. Мельмут Кид улыбался несколько насмешливо, а у Руфи глаза стали совсем широкие от изумления и удовольствия. Ей показалось даже, что он шутит, и такая снисходительность особенно радовала ее бедное женское сердце.

— А потом ты влезаешь, ну, в коробку и — поехала! — Для иллюстрации он подбросил кверху свою пустую кружку и, ловко поймав ее, продолжал: — Пфф! Приехала вниз! О великие ученые

люди! Ты едешь в Форт-Юкон, я еду в Северный Город — двадцать пять ночей и длинный шнурок между ними, все время шнурок. Я беру шнурок и говорю: «Алло, Руфь! Как вы там поживаете?», а ты мне: «Это мой милый муж?» А я отвечаю: «Да». А ты говоришь: «Не могу испечь хлеба, соды нет». А я тебе: «Посмотри-ка в шкафчике, под мукой». А потом — «до свиданья». Ты смотришь в шкафчик и находишь массу соды. И все время ты — в Форт-Юконе, я — в Северном Городе!

Руфь была настолько бесхитростно восхищена этой волшебной историей, что оба мужчины расхохотались. Собачий рев сразу оборвал все чудеса По Ту Сторону, и пока удалось разнять визжащих и рычащих псов, женщина снарядила сани и все было готово к отъезду.

— Пшли! Черти! Хи-и! Пшли же! — Масон заработал кнутом, и когда собаки налегли, он сам сдвинул упряжку, подпирая ее шестом. Руфь последовала со второй упряжкой, оставляя с последней Мельмут Кида, который помог ей сдвинуться. Сильный и грубый, способный свалить быка ударом кулака, Мельмут Кид не мог привыкнуть бить измученных собак и всячески старался ободрять их, что погонщики делают весьма редко. Он даже чуть не плакал...

— Ну-ну! Пойдем, пойдем, бедные вы, колченогие бестии! — бормотал он после нескольких неудачных попыток самому сдвинуть сани. И в конце концов терпение его было вознаграждено, и с кряхтеньем и оханьем они поторопились догонять товарищей.

Разговоров больше не было: напряженная работа не допускала такой роскоши. Ибо из всех смертельно тяжелых работ северные переезды — самая тяжелая. Счастлив тот, кто может проделать свой дневной путь по наезженной дороге, хотя бы и ценой молчания!

Ибо из всех изнуряющих работ самая тяжелая — пробивать след по снегу. На каждом шагу тяжелые плетеные лыжи проваливаются так, что снег приходится на уровне козел. Теперь вверх, совершенно перпендикулярно вверх, так как уклонение на один дюйм в сторону грозит настоящей катастрофой: лыжа должна быть поднята до самой поверхности и ни за что не зацепиться. Теперь вперед, то есть вниз, — и другая нога осторожно поднимается перпендикулярно на расстоянии полуярда. Всякий, кто первый раз пробует такой способ передвижения, — если ему даже посчастливится спасти лыжи и не растянуться самому при неверном шаге, — через какую-нибудь сотню ярдов

совершенно выбьется из сил. И всякий, кто вынесет целый дневной переезд наравне с собаками, залезает на ночь в свой меховой мешок столь довольный собой и гордый, что и словами не рассказать. А тот, кто может сделать переезд в двадцать ночевок, несомненно, достоин зависти богов.

Послеобеденное время тоже прошло с тою серьезностью и почти жутью в душе, какая рождается в Белом Безмолвии, — безмолвные путники тянули свою лямку. У природы много различных способов убедить человека в его смертности и ничтожестве — безостановочное движение моря, бешеная сила бури, толчки землетрясений, долгие перекаты небесной артиллерии, но самым поразительным, поражающим до отупения, является воздействие Белого Безмолвия. Всякое движение останавливается, небо безоблачно и точно вылило из свинца; малейший шепот кажется святотатством, и человек становится робким и пугается звука собственного голоса. Он — единственный знак жизни среди призрачной пустыни этого мертвого мира, и он пугается своей дерзости и чувствует себя несчастным червяком, ничем больше.

Так тянулся день. В одном месте река делала крутую петлю, и Мэсон захотел скосить путь через перешеек. Но собаки не могли взять высокий берег. Один раз, другой — и хотя Руфь и Мельмут Кид подпирали сани, собаки не брали. Тогда налегли из последних сил. Несчастные животные, ослабевшие от голода, старались как могли. Еще, еще — и сани вскарабкались по крутому подъему. Но передняя собака забрала слишком вправо и запутала в веревки мэсоновские лыжи. Результат оказался самый плачевный: Мэсон был сбит с ног, одна из собак упала, и сани поползли вниз, таща все за собою.

Тррр! Бешено заходил длинный кнут по спинам собак, обрушиваясь на упавшую.

— Нельзя, Мэсон! — вмешался Мельмут Кид. — Несчастные бестии и так едва волочат ноги. Подожди, я припрягу своих.

Услышав последние слова, Мэсон удержал на мгновение кнут, но потом пустил еще раз его змеиные кольца по телу неудачницы. Кармен — это была Кармен — жалобно взвыла, зарылась на мгновение в снег, а потом упала на бок, вытянув ноги.

Это был трагический момент: околевающая собака и неминуемая ссора между двумя товарищами. Руфь переводила умоляющий взгляд с

одного на другого. Но Мельмут Кид сдержал себя, хотя глаза его явно выражали неодобрение, и, нагнувшись над собакой, перерезал веревки. Ни слова не было сказано. Пришлось впрягать двойную упряжку в каждые из саней, и препятствие осталось позади. Сани тронулись, околевавшая собака тащилась позади всех. Пока животное может передвигать ноги, его не пристреливают. Это последняя милость — тащиться вместе со своими, сколько хватит сил, в надежде на кусок мяса, если только людям посчастливится убить оленя.

Уже раскаиваясь в своем поступке, но слишком упрямый, чтобы признаться в этом, Мэсон шел впереди каравана, совершенно не подозревая, что новая опасность висела над его головой. Шагах в пятидесяти от их дороги возвышалась могучая ель. Целые столетия она стояла здесь и целые столетия судьба уготавливала ей этот конец. Быть может, готовила она его также и для Мэсона.

Он остановился, чтобы подтянуть развязавшийся ремень сапога. Сани стали, и собаки, едва дыша, легли в снег. Тишина стояла жуткая. Ни малейшее дыхание не шевелило убранного инеем леса. Холод и молчание иной жизни, иных пространств убили душу и сомкнули уста испуганной природы. В воздухе задрожал вздох — они даже не услышали его, а скорее ощутили, как предчувствие движения в застывшей пустоте. И гигантское дерево, сломленное тяжестью снега и своих бесконечных лет, в последний раз сыграло свою роль в трагедии жизни. Человек услышал предостерегающий хруст и хотел отскочить, но было уже поздно — удар пришелся ему по плечу.

Внезапная опасность, близкая смерть — как часто Мельмут Кид стоял с ними лицом к лицу! Иглы ели еще не перестали дрожать, как он уже отдал свои короткие приказания и схватился за дело. Голос индианки тоже не дрогнул в праздных столах и жалобах, что непременно случилось бы с большинством ее белых сестер. По его приказу она бросилась всей тяжестью своего тела на симпровизированный рычаг, стараясь уменьшить тяжесть дерева и прислушиваясь к столам мужа, в то время как Мельмут Кид атаковал дерево топором. Сталь как-то весело звенела, въедаясь в замерзший ствол, и каждый удар сопровождался прерывистым вздохом работающего — «Ху! — Ху!».

Наконец Киду удалось освободить из снега то жалкое нечто, что совсем недавно было человеком. Но еще страшнее боли его товарища

была тупая мука на лице женщины — ее взгляд, ничего не видящий, полный надежды и безнадежного вопроса. Немного было сказано. Все, кто с Севера, с детства научаются понимать тщету слов и безмерную ценность действий. При температуре в шестьдесят пять ниже нуля человек не может пролежать долго в снегу и остаться в живых. Поэтому сани разгрузили, и несчастного, завернутого в меха, положили на кучу ветвей. Перед ним развели костер — из того же дерева, которое его погубило. Позади лежащего и отчасти над ним был устроен отражающий экран из брезента, он собирал лучи тепла и направлял их на больного — штука, которую знают все, изучавшие физику.

Люди, которые делят свое ложе со смертью, хорошо знают, когда прозвучит призыв. Мэсон был страшно изувечен. Это было ясно из самого поверхностного осмотра. Его правая рука, нога, а также спина были переломаны, все члены парализованы; не меньше были и внутренние повреждения. Только по стонам — редким и тихим — можно было догадаться, что он еще жив.

Надежды не было. И ничего нельзя было сделать. Жестокая ночь длилась — хорошая доза безнадежного стоицизма индианской расы — для Руфи, и новые глубокие борозды по бронзовому лицу Мельмут Кид. В конце концов, Мэсон страдал меньше всех: он уносился в Восточный Теннесси, в Великие Дымящиеся Горы, вновь переживая свое детство и юность. И самыми волнующими были обрывки песен давно забытого родного юга, когда он бредил о плавучих западнях, об охоте на выдру, о набегах за арбузами.

Для Руфи это был непонятный язык, но Кид понимал и переживал все — так переживал, как только может переживать человек, годами выброшенный из всего, что называется цивилизацией.

Утро привело умирающего в сознание, и Мельмут Кид наклонился к нему совсем близко, чтобы уловить его шепот.

— Помнишь, как мы собирались в Танана, — четыре года будет, когда тронется лед... Я не очень-то думал о ней тогда. А ведь она была больше для меня, чем хорошенькая, и был во всем этом... да, такой привкус восхищения, что ли. Знаешь, я только потом ее раскусил. Она была мне хорошей женой, Кид. Всегда плечо к плечу в трудную минуту. А уж что до переездов, сам знаешь, такую другую не найдешь. Ты помнишь, как она стреляла там, на Оленьих Порогах, чтобы дать

время тебе и мне спуститься со скалы? Пули свистели по воде, как град, помнишь? А когда мы все голодали в Нуклукието? А когда был ледоход, а она бежала через реку за новостями? Да, она была мне хорошей женой, лучше, чем та, другая... Никогда не говорил тебе, да? Один-то раз пробовал говорить, помнишь, в Штатах? Потому же я и сюда попал. Мы выросли вместе. Я уехал, чтобы был предлог для развода. Она так и сделала.

Но все это не касается Руфи. Я надеялся все ликвидировать к будущему году и уехать на родину вместе с ней, но теперь поздно. Не отсылай ее, Кид, к ее племени. Для женщины чертовски тяжело возвращаться к своим. Ты подумай! Почти четыре года на наших бобах и на нашем сале, и муке, и сушеных фруктах — и вернуться на рыбу и оленину. Ей будет очень тяжело: узнать нашу жизнь и наше обхождение, увидеть, что лучше, чем у своих, и в конце концов вернуться к ним. Позаботься о ней, Кид. И почему бы тебе... Впрочем, ты всегда сторонился женщин... Я ведь так и не узнаю, что тебя привело сюда. Будь добр к ней и отправь ее в Штаты как можно скорее. Но если она будет тосковать по родине, помоги ей вернуться.

Ребенок... он еще больше сблизил нас, Кид. Хочу надеяться, что будет мальчик. Ты только подумай, Кид! Плоть от плоти моей. Нельзя, чтобы он оставался здесь.

А если девочка... нет, этого не может быть... Продай мои шкуры: за них можно выручить тысяч пять, и еще столько же у меня за Компанией. Устраивай мои дела вместе со своими. Думаю, что наша заявка себя оправдает... Дай ему хорошее образование... а главное, Кид, чтобы он не возвращался сюда. Здесь не место белому человеку.

Моя песенка спета, Кид. В лучшем случае — три или четыре дня. Вам надо идти дальше. Вы должны идти дальше! Помни, это моя жена, мой сын... Господи! Только бы мальчик! Не оставайтесь со мной. Я приказываю вам уходить. Послушайся умирающего!

— Дай мне три дня! — взмолился Мельмут Кид. — Может быть, тебе станет легче; еще неизвестно, как все обернется.

— Нет.

— Только три дня.

— Уходите!

— Два дня.

— Это моя жена и мой сын, Кид. Не проси меня.

— Один день!

— Нет! Я приказываю!

— Только один день! Мы как-нибудь протянем с едой; я, может быть, подстрелю лося.

— Нет!.. Ну ладно: один день, и ни минуты больше. И еще, Кид: не оставляй меня умирать одного. Только один выстрел, только раз нажать курок. Ты понял? Помни это. Помни!.. Плоть от плоти моей, а я его не увижу... Позови ко мне Руфь. Я хочу проститься с ней... скажу, чтобы помнила о сыне и не дожидалась, пока я умру. А не то она, пожалуй, откажется идти с тобой. Прощай, друг, прощай! Кид, постой... надо копать выше. Я намывал там каждый раз центов на сорок. И вот еще что, Кид...

Тот наклонился ниже, ловя последние, едва слышные слова — признание умирающего, смирившего свою гордость.

— Прости меня... ты знаешь за что... за Кармен.

Оставив плачущую женщину подле мужа, Мельмут Кид натянул на себя парку, надел лыжи и, прихватив ружье, скрылся в лесу. Он не был новичком в схватке с суровым Севером, но никогда еще перед ним не стояла столь трудная задача. Если рассуждать отвлеченно, это была простая арифметика — три жизни против одной, обреченной. Но Мельмут Кид колебался. Пять лет дружбы связывали его с Мэсоном — в совместной жизни на стоянках и приисках, в странствиях по рекам и тропам, в смертельной опасности, которую они встречали плечом к плечу на охоте, в голод, в наводнение. Так прочна была их связь, что он часто чувствовал смутную ревность к Руфи, с первого дня, как она стала между ними. А теперь эту связь надо разорвать собственной рукой.

Он молил небо, чтобы оно послало ему лося, только одного лося, но, казалось, зверь покинул страну, и под вечер, выбившись из сил, он возвращался с пустыми руками и с тяжелым сердцем. Оглушительный лай собак и пронзительные крики Руфи заставили его ускорить шаг.

Подбежав к стоянке, Мельмут Кид увидел, что индианка отбивается топором от окружившей ее рычащей своры. Собаки, нарушив железный закон своих хозяев, набросились на съестные припасы. Кид поспешил на подмогу, действуя прикладом ружья, и древняя трагедия естественного отбора разыгралась во всей своей первобытной жестокости. Ружье и топор размеренно поднимались и

опускались, то попадая в цель, то мимо; собаки, извиваясь, метались из стороны в сторону, яростно сверкали глаза, слюна капала с оскаленных морд. Человек и зверь исступленно боролись за господство. Потом избитые собаки уползли подальше от костра, зализывая раны и обращая к звездам жалобный вой.

Весь запас сушеной рыбы был уничтожен, и им оставалось каких-нибудь пять фунтов муки на двести верст пути. Руфь вернулась к мужу, а Мельмут Кид освежевал еще не остывшее тело одной из собак, череп которой был раздроблен топором. Куски мяса он тщательно отобрал и спрятал, а шкуру и внутренности отдал собакам.

Утро принесло с собой новое беспокойство. Собаки набросились друг на друга. Кармен, которая все еще цеплялась за свое жалкое существование, была разорвана стаей. Кнут безостановочно колотил по их спинам. Они визжали и выли под ударами, но отказывались сдвинуться, пока не были уничтожены последние, жалкие клочки: кости, шкура, шерсть — все исчезло.

Мельмут Кид принялся за дело, прислушиваясь к Мэсону, который уже опять пребывал у себя в Теннесси, разговаривал, бешено спорил и умолял давно забытых друзей и братьев.

Воспользовавшись близостью двух молодых елок, он с помощью Руфи соорудил нечто вроде мешка, какие делают иногда охотники, чтобы сохранить мясо от волков и собак. Одну за другой он пригнул к земле и друг к другу верхушки двух молодых елок и связал их ремнями из оленьей шкуры. Затем усмирив собак и впряг их в двое саней; на них он погрузил все, что у них было, за исключением мехов, в какие был завернут Мэсон. Он замотал и обвязал этот мех плотнее вокруг тела умирающего, прикрепив за два конца к верхушкам елок. Одного удара охотничьего ножа было достаточно, чтобы отпустить вершины и бросить тело высоко в воздух.

Руфь выслушала последние приказания мужа и не сопротивлялась. Бедняжка слишком хорошо была обучена покорности. С детства она привыкла подчиняться и видела, как и все другие женщины подчинялись господам земли, и ей казалось законом природы, чтобы женщина не сопротивлялась. Кид разрешил ей одну вспышку горя, когда она целовала последний раз мужа — в ее племени так не делали, — потом отвел ее к передней запряжке и помог ей надеть лыжи. Тупо, инстинктивно она взяла кнут и веревку и «подняла» собак в дорогу. А

он вернулся к Мэсону, который впал в коматозное состояние; и долго еще после того, как она скрылась из виду, он, сторбившись у огня, ждал, надеялся, просил, чтобы смерть сама пришла к его товарищу.

Невесело оставаться одному с тяжелыми мыслями в Белом Безмолвии. Темная тишина ночи — добрая тишина. Она точно прячет, защищает человека, касается его тысячами неосязаемых прикосновений. Но яркое Белое Безмолвие, прозрачное и холодное, под тяжестью свинцового неба, — оно безжалостно.

Прошел час. Два часа. Но человек не умирал. В полдень солнце, не поднимаясь над южным горизонтом, разбросало вспышки огня по небу и так же быстро стерло их опять. Мельмут Кид поднялся, подошел к товарищу и посмотрел на него. Белое Безмолвие насмешливо следило за ним, и ему стало невыносимо страшно. Раздался короткий выстрел, и Мэсон взлетел в свою воздушную гробницу, а Мельмут Кид пустил собак бешеным галопом.

Сын Волка

Мужчина редко умеет ценить близких ему женщин — до тех пор, по крайней мере, пока не потеряет их. До его сознания совершенно не доходят тонкая атмосфера, излучаемая женщиной, пока он сам купается в ней; но стоит ей уйти — раскрывается и растет в его жизни пустота, и им овладевает странный голод по чему-то неопределенному, чего он не умеет назвать словами. Если друзья, окружающие его, так же неопытны, как и он сам, они будут сомнительно качать головами и предложат ему серьезно лечиться. Но голод будет все расти и становиться острее; он потеряет всякий интерес к событиям ежедневной жизни и станет раздражительным. И в один из дней, когда эта пустота станет совершенно невыносимой, на него снизойдет откровение.

Когда нечто подобное происходит на Юконе, мужчина достает себе лодку — летом или запрягает собак в сани — зимой — и едет на Юг. И через несколько месяцев, если он только привязан так или иначе к Северу, он возвращается назад с женой, которая отныне будет делить его привязанность к Северу и его труд. Все это доказывает, конечно, прежде всего врожденный эгоизм мужчины. И одновременно может служить введением в описание приключений Скрэфа Маккензи, случившихся с ним очень давно, — раньше, чем страна Юкона была запружена «че-ча-квас'ами», еще тогда, когда Клондайк был известен только своими рыбосушильнями.

На Маккензи отразились его пограничное происхождение и жизнь пограничника. На лице его отпечатались двадцать пять лет непрестанной борьбы с природой, из которых последние два года — и самые жестокие — он провел в поисках золота за пределами Полярного круга. Когда описанная выше болезнь захватила его, он нисколько не удивился, так как был человек практичный и много раз видел людей в таком же положении. Но он подавил все признаки болезни и только стал еще упорнее работать. Все лето он боролся с москитами и мок на берегу Стюарт Ривер, сплавливая лес вниз по Юкону до Сороковой Мили, и в конце концов построил себе такую

комфортабельную хижину, какая только может быть сооружена в этой стране. Она выглядела настолько привлекательно и уютно, что несколько человек навязывались к нему в компаньоны, предлагая поселиться вместе. Но он наотрез отказывался и притом довольно грубо, что вполне соответствовало его сильному и решительному характеру, а сам, однако, закупил через почтовую станцию двойной запас провианта.

Скрэф Маккензи был человек практичный, как было сказано выше. Если он чего-нибудь хотел, он обыкновенно добивался своего, но при этом не отступал от ранее намеченного пути лишь настолько, насколько это было необходимо. Кровному сыну тяжелой нужды и тяжелого труда совсем не по душе было бесконечное путешествие в шестьсот миль по льду, две тысячи миль через Океан, да еще около тысячи миль до родных мест — и все это из-за какой-то одной жены. Жизнь слишком коротка для таких прогулок. Он собрал собак, погрузил в сани довольно странную поклажу и пустился напрямик между двумя водоразделами, восточные холмы которых подступали к Танане.

Он был смелым путешественником, а его собаки-волкодавы выносили на худшей пище более тяжелую работу и более длинные перегоны, чем всякая другая запряжка в Юконе. Через три недели он добрался до племени Стиксов Верхней Тананы. Те очень удивились его дерзости. За ними установилась плохая слава: говорили, что они убивают белых людей из-за такой безделицы, как хороший топор или старое ружье. А он пришел к ним безоружный, и во всем его поведении была очаровательная смесь заискивающей скромности, фамильярности, холодной выдержки и наглости. Нужно хорошо набить руку и глубоко изучить душу дикаря, чтобы с успехом пускать в ход столь разнообразное оружие, но он был мастер своего дела и знал, когда уступить, а когда — наоборот — торговаться до исступления.

Прежде всего он отправился на поклон к вождю племени — Тлинг Тиннеху — и подарил ему пару фунтов черного чая и табака, чем и завоевал его несомненную благосклонность. После этого он смешался с толпой мужчин и девушек и объявил, что вечером дает потлач. Утоптали овальную площадку в сто шагов в длину и двадцать пять в ширину. По центру разложили большой костер, а по обеим его

сторонам набросали кучи сосновых веток. Было устроено нечто вроде трибуны, и человек сто пели песни племени в честь прибывшего гостя.

Последние два года научили Маккензи сотне слов на их наречии, и он в совершенстве перенял их глубокие гортанные гласные, их языковые конструкции, близкие японским, все их величания, приставки и пр. Он произнес речь в их вкусе, удовлетворяя их врожденную склонность к поэзии потоками туманного красноречия и образными оборотами. Ему отвечали в том же духе Тлинг Тиннех и главный шаман. Потом он раздарил всякие мелочи мужчинам, принял участие в их пении и показал себя настоящим чемпионом в игре в пятьдесят две палки.

А они курили его табак и были довольны. Но молодые держали себя несколько вызывающе — петушились, поддерживаемые явными намеками беззубых матрон и хихиканьем девушек. Им пришлось столкнуться на своем веку всего с несколькими белыми — «Сыновьями Волка», но эти немногие научили их очень странным вещам.

Маккензи, конечно, отметил этот факт, несмотря на всю свою кажущуюся беспечность. Если сказать правду, то, лежа поздно ночью в своем спальном мешке, он снова и снова обдумывал все это — обдумывал серьезно — и выкурил не одну трубку, пока не составил план кампании. Из девушек ему понравилась только одна — Заринка, дочь самого вождя. По фигуре, чертам лица, росту и объему она несколько больше других соответствовала идеалу красоты белого человека и была своего рода аномалией среди своих соплеменниц. Он возьмет ее, сделает своей женою и назовет ее — ах, он непременно назовет ее Гертрудой. Решив это окончательно, он повернулся на другой бок и сейчас же заснул, как настоящий сын своей всепобеждающей расы.

Это было сложное дело и тонкая игра, но Маккензи вел ее чрезвычайно хитро, с неожиданностью, которая озадачивала стиксов. Прежде всего он позаботился о том, чтобы внушить всем мужчинам племени, что он очень меткий стрелок и бесстрашный охотник, и вся деревня гремела от рукоплесканий, когда он подстрелил оленя на расстоянии шестисот ярдов. Однажды, поздно вечером, он отправился в хижину вождя Тлинг Тиннеха, сделанную из шкур карibu, очень много и громко говорил и раздавал табак направо и налево. Он,

конечно, не преминул оказывать всяческое внимание шаману, ибо достаточно оценил его влияние и очень хотел сделать его своим союзником. Но это высокопоставленное лицо оказалось весьма надменным, решительно отказалось умилоостивиться какими-либо жертвоприношениями, и с ним, видимо, приходилось считаться как с несомненным врагом в будущем.

Хотя случая подойти ближе к Заринке не представилось, Маккензи бросил в ее сторону несколько взглядов, красноречиво и нежно предупреждавших ее об его намерениях. И она, конечно, прекрасно поняла их и не без кокетства окружила себя толпой женщин, так что мужчины не могли подойти к ней: это было уже начало победы. Впрочем, он не торопился; помимо всего, он прекрасно знал, что ей все равно ничего не остается, как думать о нем, а несколько дней подобных размышлений могли только помочь ухаживанию.

В конце концов однажды ночью, когда он решил, что пришло время, он неожиданно покинул прокопченное дымом жилище вождя и вошел в соседнюю хижину. Она, как и всегда, сидела среди женщин и девушек, и все они шили мокасины и спальные мешки. При его появлении все засмеялись и громко зазвучала веселая болтовня Заринки, обращенная к нему. Но потом вышло так, что все эти матроны и девицы были самым бесцеремонным образом выставлены за дверь одна за другой, прямо в снег, где им не оставалось ничего другого, как только спешно разнести по деревне интересную новость.

Его намерения были весьма красноречиво изложены на ее языке — его языка она не знала, и по прошествии двух часов он поднялся.

— Так что Заринка пойдет в хижину Белого Человека, да? Ладно. Теперь я пойду говорить с твоим отцом, потому что он, может быть, думает иначе. И я дам ему много подарков, но пусть он не требует слишком много. А если он скажет — нет? Ладно. Заринка, значит, все-таки пойдет в хижину Белого Человека.

Он уже поднял шкуру входной двери, когда тихий возглас девушки заставил его вернуться. Она опустилась перед ним на колени на медвежью шкуру, с лицом, залитым внутренним светом — вечным светом Евы, — и застенчиво принялась развязывать его тяжелый пояс. Он смотрел на нее сверху вниз, растерянный, подозрительный, прислушиваясь к малейшему шуму снаружи. Но следующее ее движение рассеяло все его сомнения, и он улыбнулся от удовольствия.

Она вынула из мешка с шитьем ножны из оленьей шкуры, красиво разукрашенные яркой фантастической вышивкой, потом взяла его большой охотничий нож, посмотрела почтительно на его острое лезвие, потрогала его пальцем и всунула в новые ножны. Затем она надела их снова на пояс.

Честное слово, это была сцена из средневековья — прекрасная дама и ее рыцарь. Маккензи поднял ее высоко на воздух, прижимая свои усы к ее красным губам: для нее это была чужеземная ласка Волка — встреча каменного века со стальным.

В воздухе стоял невообразимый гам, когда Маккензи с толстым узлом под мышкой широко распахнул дверь хижины Тлинг Тиннеха. Дети бежали по улице, стаскивая сухие сучья для потлача, крикливая женская болтовня удвоила свою интенсивность, молодые люди совещались мрачными группами, а из хижины шамана доносились зловещие звуки заклинания.

Вождь был один со своею подслеповатой женой, но Маккензи достаточно было одного взгляда, чтобы убедиться, что новости его уже устарели. Поэтому он начал прямо с дела, выставляя напоказ расшитые ножны как предупреждение о состоявшемся уже соглашении.

— О Тлинг Тиннех, могучий вождь племени Стиксов и всей земли Танана, повелитель лосося и волка, и оленя, и карибу! Белый Человек стоит перед тобою с великим предложением. Много лун была пуста его хижина и много ночей провел он в одиночестве. И сердце его изглодало себя в молчании, и выросла в нем тоска по женщине, которая сидела бы рядом с ним в хижине и встречала бы его, вернувшегося с охоты, ярким огнем и вкусным ужином. Странные вещи слышались ему в тишине: он слышал топанье маленьких ножек в детских мокасинах и звуки детских голосов. И однажды ночью снизошло к нему видение. И он пошел к Ворону, своему отцу, великому Ворону, отцу племени Стиксов. И Ворон говорил с одиноким Белым Человеком и сказал ему так: «Подвяжи твои мокасины и надень твои лыжи, и положи в сани еды на много ночей, и положи в них еще красивые подарки для великого вождя Тлинг Тиннеха. Потому что ты должен теперь повернуть лицо твое в ту сторону, где весной солнце опускается за край земли, и ехать в страну этого великого вождя. Ты привезешь с собою богатые подарки, и Тлинг Тиннех — мой сын —

примет тебя как отец. В хижине его есть девушка, в которую я вдохнул дыхание жизни для тебя. Эту девушку ты должен взять себе в жены».

О вождь, так говорил великий Ворон. И вот я кладу мои подарки к твоим ногам, и вот я здесь, чтобы взять твою дочь.

Старик запахнул свою меховую одежду с полным сознанием своего королевского достоинства, но ответил не сразу, так как в эту минуту вбежал мальчик и передал ему требование немедленно явиться на совет старейшин.

— О Белый Человек, которого мы прозвали Смертью Оленей и которого зовут еще Волком и Сыном Волка! Мы знаем, что ты приходишь из могущественного племени; мы гордимся таким гостем нашего потлача, но королевской лососи не пристало сходиться с мелкой лососью или Ворону сходиться с Волком.

— Нет, это не так! — воскликнул Маккензи. — В деревнях Волков я встречал не раз дочерей Ворона — жена Мортимера, и жена Тредгидю, и жена Барнаби, который вернулся после двух ледоходов, и о многих других женщинах я слышал, хотя глаза мои и не видели их.

— Сын, твои слова справедливы, но разве было что хорошее от таких встреч? Это то же, что воде сойтись с песком или снежным хлопьям сойтись с солнцем! А приходилось тебе встречать некоего Мэсона и его жену? Нет? Он приходил сюда вот уже десять ледоходов тому назад — первый из всех Волков. И вместе с ним приходил еще могучий человек, стройный и высокий, как молодой тополь, сильный, как дерзколицый медведь. И лицо у него было похоже на полную летнюю луну; его...

— О! — прервал Маккензи, узнав хорошо известную всему Северу фигуру. — Мельмут Кид!

— Он — самый могучий человек. Но не встречал ли ты женщину с ними? Она была родной сестрой Заринки.

— Нет, вождь, но я слышал о ней. Мэсон... Это было далеко, далеко на севере — старая сосна, отяжелевшая от долгих лет, раздавила его жизнь. Но любовь его была велика, и у него было много золота. Женщина взяла это золото и взяла своего мальчика, и ехала долго-долго, несчетное число ночей, к северному полуденному солнцу. Она и теперь живет там и не страдает от мороза и снега, полуночного летнего солнца и полуденной зимней ночи.

Новый посланец прервал их, принеся от совета категорическое требование явиться немедленно. Выталкивая его за дверь, Маккензи различил неясные тени вокруг костра совета, услышал ритмическое пение низких мужских голосов и понял, что шаман разжигает злобу народа. Надо было спешить. Он вернулся к вождю.

— Ну, я хочу взять твое дитя! И ты посмотри, посмотри сюда: вот табак, чай, много кружек сахара, теплые одеяла, платки — посмотри, какие плотные и большие. А это, видишь, настоящее ружье, и вот пули к нему, много пуль и много пороха.

— Нет, — возразил старик, видимо, борясь с искушением завладеть богатствами, разложенными вокруг него. — Ты слышишь, мой народ собрался. Они не хотят этой свадьбы.

— Ведь ты — вождь.

— Но мои юноши в большом гневе за то, что Волки берут их девушек и им не на ком жениться.

— Послушай, о Тлинг Тиннех! Раньше чем ночь перейдет в день, Волк направит своих собак к Горам Запада и еще дальше в страну Юкона. И Заринка будет впереди его собак.

— Но ранее того чем ночь дойдет до своей середины, мои юноши бросят собакам тело Волка, и его кости затеряются в снегу, пока весна не оголит их.

Это была атака и контратака. Бронзовое лицо Маккензи густо вспыхнуло. Он возвысил голос. Старая женщина, которая до этой минуты восседала равнодушной зрительницей, поползла к двери. Когда он оттащил ее и грубо толкнул на ее сиденье из шкур, он услышал, как пение сразу прекратилось и послышался гвалт многочисленных голосов.

— Еще раз я кричу тебе, о Тлинг Тиннех! Волк умирает, стиснув зубы, но с ним вместе уснут десять твоих самых сильных воинов, а они нужны тебе, потому что приближается время охоты, а за ним время рыбной ловли. И еще раз говорю тебе: какая польза от моей смерти? Я знаю обычаи твоего народа: твоя доля в моем имуществе будет очень мала. Отдай мне твое дитя — и все это будет твоим. И опять же говорю тебе: придут мои братья, а их много, их земля никогда не бывает слишком заселена — и дочери Ворона принесут детей в жилищах Волков. Мой народ сильнее твоего народа. Так решила судьба. Согласись — и все это богатство будет твоим.

Снаружи заскрипели по снегу мокасины. Маккензи взвел курок ружья и вынул из-за пояса револьвер.

— Согласись, о вождь!

— А мой народ скажет «нет»?

— Согласись — и все это будет твоим! А с твоим народом я поговорю после.

— Волк хочет так? Хорошо, я беру его подарки, но говорю ему: берегись!

Маккензи пересмотрел еще раз приношения, посмотрел, не заряжено ли ружье, и завершил сделку калейдоскопически пестрым шелковым платком. В хижину вошел шаман с дюжиной молодцов, но Маккензи смело растолкал их и вышел на улицу.

— Собирайся! — коротко бросил он Заринке, проходя мимо ее хижины, и стал поспешно запрягать собак. Через несколько минут он уже шел на совет во главе своей запряжки, и женщина была с ним. Он занял место на верхнем конце огня, рядом с вождем. По левую сторону, несколько сзади, он поставил Заринку. Это место принадлежало ей по праву, а кроме того, не худо было обезопасить себя сзади, ибо момент был очень серьезный.

На другом конце многочисленные фигуры сидели на корточках у огня, и голоса их тянули песню давно забытых времен. Это пение со странным обрывающимся ритмом и частыми повторениями не было красиво. «Жуткое» — вот какое определение было наиболее точным. На самом конце, под наблюдением шамана, плясало около десяти женщин. Он сурово укорял тех из них, которые не умели всецело отдаться экстазу обряда. Почти скрытые тяжелыми массаами черных волос, изгибая стан и словно разбитые во всех членах, они медленно раскачивались, и их тела извивались в такт беспрестанно меняющемуся ритму.

Это была дикая сцена: невероятный анахронизм. На Юге девятнадцатое столетие заканчивало последние годы своего последнего десятка, здесь царствовал первобытный человек — тень восставшего из гроба доисторического пещерного жителя, забытый обрывок древнего мира. Желто-бурые собаки — волкодавы — лежали между своими хозяевами, одетыми в звериные шкуры, дрались из-за места, и отсветы костра отражались в их красных глазах и на оскаленных пенящихся зубах. Лес стеснился вокруг толпою

неподвижно дремлющих привидений. Белое Безмолвие, отодвинутое на время в туманную глубину его, казалось, выжидало только минуту, чтобы прорваться в круг людей; звезды танцевали по небу большими скачками, как они делают это всегда в часы Великого Холода, а Духи Полюса тянули через все небо сверкающие одежды своей славы.

Скрэф Маккензи вряд ли ощущал дикое величие происходящего, переводя внимательный взгляд с одного лица на другое, вдоль ряда меховых фигур. На одно мгновение глаза его остановились на новорожденном ребёнке, сосавшем голую грудь матери, — и это при семидесяти с лишним градусах мороза. Он подумал о нежных женщинах своей расы и презрительно усмехнулся. И однако от тела вот такой нежной женщины произошел и он сам.

Пение и пляска кончились, и шаман стал красноречиво говорить. Ловко пользуясь запутанной и обширной мифологией, он играл на доверчивости своих слушателей. Дело было серьезное. Творческим началом, воплощенным в Вороне и в Бóроне, он противопоставлял Маккензи — Волка — как начало воинственное и разрушительное. Борьба этих двух начал протекает не только в духовной сфере, нет, бороться должны люди, каждый за своего тотэма. Они — дети Джелкса Ворона, великого бога — Прометей, принесшего им огонь, а Маккензи — сын Волка, иначе говоря, сын Дьявола. Поэтому тот, кто вносит перемирие в эту вечную борьбу, кто отдает своих дочерей в жены исконному врагу, совершает гнуснейшую измену и величайшее святотатство. И не было такого резкого выражения и такого унижительного сравнения, какое шаман не употребил бы по отношению к Маккензи, изображая его как слугу и посланца сатаны. В продолжение его разглагольствований из гущи толпы слышалось сдержанное злобное рычание.

— О братья мои, велик Джелкс и всемогущ! Разве не принес он нам огонь, рожденный небом, чтобы мы могли согреться? Разве не он выпустил солнце, луну и звезды из их небесных ям, чтобы дать нам зрение? Не он ли научил нас побеждать духов Голода и Мороза? Но теперь Джелкс прогневался на детей своих, и их осталась всего одна горсть, и он не хочет уже помогать им. Потому что они забыли его и делают дурные дела и вступили на дурные пути, и принимают врагов в свои жилища, и сажают их к своему огню. И Ворон скорбит о преступлениях детей своих. Но если они воспрянут и покажут ему, что

хотят вернуться, он выйдет из тьмы и поможет им. О братья, сегодня Принесший Огонь шепнул шаману свои повеления, и вот я передаю их вам. Пусть юноши уведут девушек в свои хижины. Пусть они вцепятся в глотку Волка, и пусть бессмертной будет их ненависть, и тогда женщины их принесут плод, и они размножатся и станут великим народом. И Ворон выведет племена наших отцов и дедов из страны Севера, и они снова оттеснят Волков и обратят их в пепел прошлогодних костров. И они завладеют всей страной! Вот повеление Джелкса, великого Ворона.

Это обещание пришествия Мессии вызвало бурю восторга в рядах стиксов. Все они вскочили со своих мест. Маккензи высвободил большие пальцы из рукавиц и ждал. Все требовали Лисицу и не хотели успокоиться, пока один из юношей не выступил вперед и не начал говорить.

— Братья! Мудро говорил шаман. Волки уводят наших женщин, и наши мужчины бездетны. Нас осталась какая-нибудь горсть. Волки отбирают наши теплые меха и дают взамен злых духов, запертых в бутылки, и одежды, сделанные не из шкур бобра или рыси, но из травы. И одежды эти не дают тепла, и наши воины умирают от непонятных болезней. Я, Лисица, не имею жены. А почему? Два раза уже девушки, которые нравились мне, уходили в становища Волков. Вот и теперь я собрал шкуры бобров, оленей и карибу и хотел заслужить милость Тлинг Тиннеха, чтобы жениться на дочери его, Заринке. И вот вы видите — лыжи надеты на ее ноги, чтобы идти впереди собак Волка. Я говорю не только за себя. Чего хотел я, того хотел и Медведь. Он тоже хотел быть отцом ее детей и много шкур собрал для этого. Я говорю за всех юношей, у которых нет жен. Волки жадны. Они всегда хотят получить лучшие куски. Воинам остаются одни объедки.

— Смотрите, вон Гукла, — вскрикнул он, грубо указывая на одну из женщин, которая была калекой. — Глядите, ее ноги такие же кривые, как бока березовой лодки. Она не может собирать сучья или носить за охотниками их добычу. Что же? Ее выбрали Волки?

— О! О! — кричали слушатели.

— А вот Маира, глаза которой перекошены злым духом. Даже маленькие дети пугаются при виде ее, и я слышал, что даже медведь уступает ей дорогу при встрече. Что же? Ее взяли?

И снова раздался дикий рев одобрения.

— А вон там сидит Пишета. Она не слышит моих слов. Она никогда не слышала крика совы и голоса своего мужа, и лепета своего ребенка. Она живет в Белом Безмолвии. Посмотрели ли на нее Волки? Нет! Им нужны лучшие куски — объедки они оставляют нам!

Братья, не будет этого больше! Никогда больше Волки не прокрадутся к нашим кострам. Настало время!

Огненный столб северного сияния — пурпурно-красный, зеленый, желтый — поднялся к зениту, соединяя горизонт с горизонтом. Закинув голову и вытянув руки, Лисица указывал на небо.

— Смотрите! Это встали души отцов ваших. Великие дела совершатся сегодня ночью!

Он отступил назад, а его место нерешительно занял другой юноша, выталкиваемый вперед товарищами. Он был на целую голову выше их всех, и его широкая грудь, несмотря на сильнейший мороз, была обнажена. Он переминался с ноги на ногу. Слова застредали у него в горле, и ему было, видимо, очень не по себе. На лицо его страшно было смотреть, ибо чуть ли не половина его была когда-то снесена во время схватки. Наконец, он ударил себя в грудь сжатым кулаком, причем послышался глухой звук, как от барабана, и голос его полетел над толпой, как рев океанской пучины.

— Я — Медведь, я — Серебряное Копье и Сын Серебряного Копья. Когда мой голос походил еще на голос девочки, я уже убивал рысь, и оленя, и карибу. Когда он звучал, как голос росомахи, попавшей в западню, я перешел через Северные Горы и убил троих с Белых Берегов, а когда он стал походить на рев Чинуки, я встретил дерзколицего медведя и не уступил ему дороги.

Он остановился и выразительно провел рукой по своему обезображенному лицу.

— Я не умею говорить, как Лисица. Язык мой замерз, как река. Я не могу говорить долго. У меня мало слов. Вот Лисица говорит, что великие дела придут сегодня ночью. Ладно! Слова бегут у него с языка, как весенние потоки, но он слишком бережлив на дела. Сегодня ночью я буду бороться с Волком. Я свалю его, и Заринка будет сидеть у моего огня. Медведь сказал.

Несмотря на то что ад поднялся вокруг него, Маккензи не сдвинулся с места. Понимая, насколько бесполезно ружье на таком

близком расстоянии, он вынул оба револьвера и приготовился. Он знал, конечно, что в случае массового нападения надежды не было, но, верный своему гордому слову, готов был умереть со стиснутыми зубами. Но Медведь сдержал своих товарищей, отбросив самых дерзких назад ударами своих страшных кулаков. Когда шум немного стих, Маккензи оглянулся на Заринку. Она была изумительно хороша. Наклонившись вперед на своих лыжах, она стояла с раскрытыми губами и вздрагивающими ноздрями, как тигрица, готовая к прыжку. Ее большие черные глаза впивались в соплеменников со страхом и с вызовом. Напряжение ее было так велико, что она, казалось, перестала дышать. Одной рукой она судорожно схватилась за грудь, а в другой так же судорожно сжимала плетку, и стояла так, словно превращенная в камень. Под его взглядом она пришла в себя. Глубоко вздохнув, она отодвинулась назад, посмотрев на него глазами, в которых было нечто большее, чем любовь.

Тлинг Тиннех пытался говорить, но его заглушали. Тогда Маккензи выступил вперед. Лисица открыл было рот, чтобы крикнуть что-то, но Маккензи с такой яростью замахнулся на него, что тот отскочил назад, подавившись собственным возгласом. Его поражение было встречено шумным смехом и привело его товарищей в несколько более спокойное состояние.

— Братья! Белый Человек, которого вы хотите называть Волком, пришел к вам с ласковыми словами. Он не обманщик: он не говорил вам лжи. Он пришел к вам как друг, как тот, кто хочет быть вашим братом. Но ваши юноши говорили по-своему, и время ваших слов прошло. Прежде всего я говорю вам, что у шамана несправедный язык, и что он лживый пророк, и что слова, которые он говорил, шептал ему не тот, кто принес Огонь. Уши шамана закрыты для голоса Ворона, и он сплетал хитрые выдумки и дурачил вас. У него нет никакой силы. Когда, помните, все собаки были убиты и съедены, когда внутренности ваши отяжелели от лохмотьев кожи и мокасинов, когда умирали старики, и умирали старухи, и умирали маленькие дети на иссохших грудях матерей, когда вся страна была во мгле и вы погибали, как лососи на берегу, — скажите, когда голод поселился у вас, сумел ли шаман послать удачу вашим охотникам? Наполнил ли он мясом ваши желудки? И еще раз говорю я — нет силы у шамана. Вот! Я плюю ему в лицо!

Хотя все невольно отшатнулись при виде такого святотатства, шума не последовало. Некоторые женщины были сильно напуганы, а мужчин охватило возбуждение как бы в ожидании чуда. Все взгляды были направлены на две центральные фигуры. Шаман, сознавая всю опасность положения и чувствуя, что влияние его колеблется, открыл было рот, чтобы разразиться ругательствами, но отступил перед подавшейся вперед фигурой Маккензи, его поднятыми кулаками и горящими глазами. Маккензи презрительно усмехнулся и продолжал.

— Теперь я говорю Лисице и Медведю. Кажется, им понравилась эта девушка? Да? Так ведь я же купил ее раньше. Смотрите, Тлинг Тиннех опирается на ружье, и много еще другого добра лежит у его огня. Но мне хочется быть любезным с этими юношами. Лисице, у которого язык высох от лишних слов, я подарю пять длинных пачек табака. Это смочит ему язык, чтобы ему было удобнее побольше шуметь на совете. А Медведю, встречей с которым я горжусь, я дам так: одеяла — два, муки — двадцать кружек; табака — вдвое больше, чем Лисице. А если он согласится поехать со мной через Восточные Горы, я подарю еще ружье, точь-в-точь такое, как у Тлинг Тиннеха.

Маккензи улыбался, отходя на свое место, но сердце его было полно опасений. Ночь все еще длилась. Девушка подошла к нему, и он внимательно слушал, какие штуки выделывает ножом Медведь во время схватки.

Постановили решить спор поединком. Вдоль костра была утоптана площадка длиной в шестьдесят мокасинов. Много было разговоров о поражении шамана. Некоторые, впрочем, утверждали, что он просто не хотел показывать свою силу. А другие вспоминали разные случаи из прошлого и соглашались с Волком. Медведь вышел на середину площадки с длинным охотничьим ножом русской работы в руках. Лисица обратил всеобщее внимание на револьверы Маккензи. Поэтому Маккензи снял пояс, надел его на Заринку и ей же поручил свое ружье. Она покачала головой с сожалением, что не умеет стрелять: редко приходилось женщине брать в руки такие драгоценные предметы.

— Слушай, если опасность будет грозить мне сзади, крикни громко «мой муж!» Нет, не так, еще раз: «мой муж!»

Он рассмеялся, когда она повторяла его слова, ущипнул ее за щеку и вошел в круг. Медведь превосходил его не только ростом и силой, но и нож его был длиннее вершка на два. Скрэф Маккензи много раз

смотрел в глаза людей при подобных же обстоятельствах, и теперь по одному взгляду он понял, что перед ним стоит настоящий мужчина. Но отблеск огня на стали заставил его гордо и радостно вздрогнуть — отблеск стали, сердца его расы...

Снова и снова оттеснял его Медведь до линии огня или выбивал из площадки в глубокий снег, и снова и снова ловкими приемами боксера он выбирался на середину. Ни разу из толпы окружающих не услышал он одобрительного возгласа, тогда как его противника поддерживали аплодисментами, советами, предостережениями. Но он только крепче стискивал зубы при каждом звоне скрецающихся ножей, нападая и отражая удары со спокойной выдержкой сознающей себя силы. Вначале ему было как-то жаль своего противника, но потом это чувство потонуло в первобытном инстинкте самозащиты, а еще позже он уже все забыл — осталась лишь жуткая радость борьбы. Все десять тысячелетий культуры спали с него: это был пещерный дикарь, дерущийся за самку.

Два раза ему удалось задеть Медведя и благополучно вывернуться. Но на третий он попался и, чтобы спастись, должен был ухватиться за него свободной рукой: они сошлись тело с телом. Тут только почувствовал Маккензи всю ужасную силу своего противника. Мускулы его напряглись до судороги, а жилы готовы были лопнуть, и тем не менее русская сталь сверкала все ближе и ближе. Он попробовал податься назад, но этим только ослабил себя. Тесный круг меховых фигур сомкнулся еще теснее: все были уверены в развязке и не хотели упустить ни одной детали. Но вдруг Маккензи, отклонившись немного в сторону, неожиданно — боксерским приемом — ударил Медведя головой. Тот неловко откатнулся и потерял равновесие. В то же мгновение Маккензи нанес ему сильный удар и навалился на него всею тяжестью тела, отбросив за черту, в глубокий снег. Медведь вскочил, весь покрытый снегом.

— О мой муж! — голос Заринки дрожал от ужаса.

На звук спущенной тетивы Маккензи успел низко пригнуться к земле, и стрела с наконечником из рыбьей кости пролетела над его головой и впиалась в грудь Медведя, который покачнувшись и упав на своего припавшего к земле противника.

В одно мгновение Маккензи высвободился из-под него и уже стоял на ногах. Медведь лежал без движения, но по другую сторону костра

шаман брал уже вторую стрелу.

Нож Маккензи сверкнул в воздухе. Целый сноп света прорезал темноту, когда он перелетал через костер. И шаман, из горла которого торчала теперь одна рукоятка, пошатнувшись, упал прямо в огонь.

Чик! Чик!.. Лисица завладел ружьем Тлинг Тиннеха и тщетно пытался зарядить его; услышав за собою смех Маккензи, он сейчас же поставил ружье на место.

— Та-к! Значит Лисица не умеет обращаться с этой игрушкой? Он, значит, совсем женщина? Ладно, дай его сюда, я научу тебя.

Лисица колебался.

— Дай сюда, я тебе говорю.

Лисица подошел к нему с видом побитой собаки.

— Вот, смотри: так, а потом так, — патрон вскочил на месте, и курок щелкнул.

— Лисица говорил, что великие дела совершатся сегодня ночью? Он правильно говорил. Великие дела совершились, но не много между ними было дел Лисицы. Что же, он все еще хочет взять Заринку в свою хижину? Может быть, он собирается идти по пути, который проложили для него шаман и Медведь? Нет? Ладно!

Маккензи презрительно отвернулся и вынул свой нож из горла шамана.

— Может быть, еще кто-нибудь из юношей хочет попытаться? Волк будет валить их по двое и по трое, пока не переберет всех. Нет? Ладно. Тлинг Тиннех, еще раз отдаю тебе ружье. Если когда-нибудь тебе случится быть в стране Юкона, знай, что для тебя в хижине Волка всегда найдется место у огня и много еды. Ночь переходит в день. Я ухожу, но я могу еще раз вернуться.

Он казался им каким-то сверхъестественным существом, когда через толпу направился к Заринке. Она встала на свое место во главе запряжки, и собаки тронулись. Через несколько минут лес призраков поглотил их. Маккензи выждал, пока они скроются, и только тогда надел лыжи.

— А разве Волк забыл о пяти длинных пачках?

Маккензи с досадой обернулся к Лисице, но положение было слишком комично.

— Я дам тебе одну... короткую.

— Как Волк захочет, — покорно ответил Лисица, протягивая руку.

На Сороковой Миле

Когда Джим Белден Большой довольно легкомысленно высказал безобидное с виду предположение, что крупичатому льду это «вполне свойственно», он совершенно не представлял себе, что из этого выйдет. Точно так же и Лон Мак-Фэн, когда утверждал, что якорный лед «всегда так». Да и Бэттлс не предвидел ничего особенного, когда не согласился и заявил, что такого льда не существует вовсе и все это одна брехня.

— И это ты говоришь мне! — закричал Лон. — Когда мы уже не первый год здесь! И когда столько дней мы едим с тобой из одного горшка!

— Но ведь эта штука противоречит здравому смыслу, — настаивал Бэттлс. — Ты рассуди. Ведь вода теплее льда...

— Разница-то невелика.

— Ну все-таки теплее, если не замерзла. А ты говоришь — намерзает на дно.

— Только якорный лед, Дэвид, только якорный. И разве ты никогда не видел, как он скопляется? Вода прозрачная, как стекло, и вдруг, как облачко, комочки булькают и выплывают и выплывают, пока вся река не закроется от берега до берега, точно выпавшим снегом.

— Гм! Гм! Пожалуй, и со мной так случилось, когда, бывало, клюкнешь малость у руля. Только все это булькало из соседней бутылки, а вовсе не из-под воды...

— И ты никогда не видел его на руле? Ни одной крошечки?

— Нет. Да и ты не видел. Это противоречит здравому смыслу. Это тебе скажет всякий.

Бэттлс обращался ко всем, сидящим вокруг огня, но все его доказательства предназначались для Лона Мак-Фэн.

— Здравый там или не здравый, а я тебе дело говорю. Последний раз, когда была низкая вода — год тому назад, я видел эту штуку вместе с Ситкой Чарлеем, когда мы спускались вниз по реке, ты помнишь — пониже Форта Надежды. Была осень, все как следует: солнце на золотых лиственницах и на осинах и в каждой струйке —

солнце. И тут уж и зима, и синий туман с Севера — все вместе. Ты и сам это видел: когда бахрома льда по берегу и воздух звонкий и искрится, и ты чувствуешь его, ну, через все тело, и с каждым глотком прибавляется тебе жизни. Вот тут-то, милый мой, мир всегда кажется совсем маленьким, и такая, знаешь, непоседливость хватает тебя за пятки...

Ну вот, мы, значит, едем. Как я уже сказал, бахрома по берегу, а больше льда нигде, как вдруг индеец поднял весло и кричит: «Лон Мак-Фэн! Смотрите, смотрите туда! Хотя я и слышал об этом, а видать еще не видал!» Как вы знаете, ни Ситка Чарлей, ни я родились не здесь, ну, значит, обоим было внове. Мы и повисли по обеим сторонам лодки и глядим в воду. Ну так вот, я тебе говорю, совсем то же, что я видел, когда ловил жемчуг. Там только кораллы росли так со дна — целыми лесами и садами. Вот это и был якорный лед: он облепил все подводные камни и поднимался вверх, как белые кораллы.

Но самое удивительное зрелище было впереди. Когда мы проехали рифы, вода стала вдруг молочного цвета, и вся поверхность покрылась сразу, ну, такими кружками. Весной, когда рыба играет, бывает так, или еще когда идет дождь. Это поднимался якорный лед. И вправо, и влево, и далеко вокруг вода была такая же. А вокруг лодки была точно каша из льда или густая похлебка. Облепила борта, облепила весла. Много раз до этого я переезжал через пороги и много раз после — и никогда не видел ничего подобного. Только раз в жизни и видел.

— Говори, тоже! — сухо заметил Бэттлс. — Думаешь, поверю такому вздору? Скорее всего солнце испортило тебе глаза или осенний воздух сегодня укусил за язык.

— Собственными глазами я видел это, и, если бы Ситка Чарлей был здесь, он поддержал бы меня.

Кінець безкоштовного уривку. Щоби читати далі, придбайте, будь ласка, повну версію книги.

ridmi
ТВІЙ УЛЮБЛЕНИЙ КНИЖКОВИЙ

КУПИТИ